

Николай Поселягин (Москва)

**Туда и обратно: некоторые
аспекты создания романа
С. М. Степняка-Кравчинского
«Андрей Кожухов»**

Роман «Андрей Кожухов» изначально был написан и издан С. М. Кравчинским по-английски («The career of a nihilist», 1889) под псевдонимом «S. Stepniak». Издание осуществил лондонский офис американо-английского издательства «Harper». При жизни писателя по-русски были опубликованы только несколько глав из третьей части романа в переводе В. И. Засулич (в женевском журнале «Социал-демократ», 1890, № 2); полный русский текст книги вышел спустя почти три года после гибели автора, тоже в Женеве, под редакцией П. А. Кропоткина и с предисловием датского критика Г. Брандеса [см.: Степняк-Кравчинский 1898]. Переводчиком выступила вдова Кравчинского, Ф. М. Степняк (Личкус). Название «Андрей Кожухов» появилось уже в «Социал-демократе» и с тех пор воспроизводилось без изменений¹.

Основной вопрос, который я хочу сформулировать в этой статье, — для чего Кравчинскому потребовалось писать и публиковать роман именно по-английски, на какого читателя он при этом рассчитывал? То, что Кравчинский был в курсе работы Засулич над переводом, не подлежит сомнению: переводчица присылала автору корректуры, и уже после выхода номера журнала он писал ей: «Зачем только вы написали: “Перевод с английского”, — это можно было смело опустить» [цит. по: Пискун 1958: 638]. Теоретически роман мог бы быть написан и сразу по-русски, а опубликован, скажем, в той же Женеве — одним из ключевых издательских мест российской политической эмиграции последней трети XIX в. Однако Кравчинский выбрал другую целевую аудиторию. Поскольку у меня нет прямого

¹Подробнее об издательской судьбе романа вплоть до первого бесцензурного российского издания в 1919 г. см.: Пискун 1958: 637—640.

ответа на этот вопрос, я вынужден высказать лишь некоторую предварительную гипотезу (возможно, дальнейшая архивная работа в этом направлении существенно скорректирует или совсем изменит ее).

«Андрей Кожухов» не первое произведение, которое Кравчинский, знавший несколько европейских языков, писал не по-русски. До «Андрея Кожухова», в 1881 г., он написал по-итальянски цикл очерков «Подпольная Россия» («La Russia sotterranea») о российском радикальном движении для газеты «Il Pungolo» в Милане, где сам в это время скрывался. В следующем году очерки были изданы отдельной книгой, а в 1883 г. сборник вышел в Лондоне в переводе на английский (параллельно в 1883—1893 гг. Кравчинский переводил очерки на русский и постепенно публиковал в эмигрантской прессе); автор также хотел опубликовать «Подпольную Россию» по-французски и по-немецки. Некоторые очерки, задуманные тогда же, не вошли в книгу: они были написаны позже и сразу по-английски [см.: Пискун 1958: 645—650, 665—667]. Цель очевидна: очерки носят информационный и пропагандистский характер и созданы, с одной стороны, для того чтобы европейская общественность узнала о деятельности российских революционеров из первых рук, а с другой — для морального оправдания русского терроризма. Согласно риторике очерков, терроризм определялся одновременно как разновидность тираноборчества, как месть за нелегитимные (с точки зрения политических норм) и несправедные (с моральной точки зрения) действия правительства и как акт выражения воли народа. Например:

Засулич вовсе не была террористкой. Она была ангелом мести, жертвой, которая добровольно отдавала себя на заклятие, чтобы смыть с партии позорное пятно смертельной обиды². <...> событие 24 января имело огромное значение в развитии терроризма. Оно озарило его своим ореолом самопожертвования и дало ему санкцию общественного признания. <...> Но что же это за правительство, которое так нагло издевается над законами страны, которое не опирается и не желает опираться ни на народ, ни на общество, ни на какой-

² Критический анализ этого пассажа о Засулич см.: Одесский, Фельдман 2012: 137—138.

нибудь отдельный класс, ни даже на им самим созданные законы? Что представляет оно, как не воплощение грубой силы?

Против подобного правительства все дозволительно. Оно уже является не выразителем воли большинства, а организованным произволом. На уважение оно может претендовать не больше, чем шайка придорожных разбойников, которые бьют, грабят и режут, пока на их стороне сила. <...> Нужно было обойти врага с тылу, схватиться с ним лицом к лицу позади его неприступных позиций, где не помогли бы ему все его легионы.

Так возник терроризм [Степняк-Кравчинский 1958/1: 388—390].

Подобная риторика, по мысли Кравчинского, должна была оправдать террористическую борьбу русских радикалов в глазах всей Европы — и прежде всего Италии, где такого рода деятельность должна была ассоциироваться с национально-освободительным движением Дж. Гарибальди³. Кравчинскому необходимо было прежде всего убедить международную аудиторию, что терроризм в России целесообразен и морален; в то время как большинство других теоретиков русского радикализма писали работы по-русски и тем самым создавали базис для внутреннего обоснования деятельности революционных групп, их самоидентификации, Кравчинский считал основной целью внешнюю — международную — легитимацию русского терроризма и делегитимацию существующего режима, а перевод своих статей на родной язык организовывал с большим опозданием, как дело второстепенное.

Как видно даже по приведенной цитате, основной риторической стратегией Кравчинского было не столько создание аргументативной базы, подтверждающей и систематизирующей преступления российского правительства, сколько эмоциональные описания того, что это правительство преступно, а те, кто с ним борется, — герои и мученики. По-видимому, с точки зрения автора, идеологическое воздействие будет сильнее тогда, когда читатель эмоционально солидаризуется с текстом, чем когда он начинает рационально анализировать предложенную систему

³ См., кстати, очерк Кравчинского «Джузепе Гарибальди» [см.: Степняк-Кравчинский 1958: II, 355—398], предназначенный, наоборот, для российской публики, написанный по-русски в 1882 г. и опубликованный под псевдонимом «С. Горский» в петербургском журнале «Дело».

доказательств. Установка на аффект должна была убедить иностранную аудиторию в правоте и законности действий террористов, в то время как рефлексия погубила бы идеологию. Поэтому очерки о русских революционерах приобретают отчетливо житийную окраску⁴. Художественное произведение могло оказать еще более сильный эстетический и эмоциональный эффект, и вслед за «Подпольной Россией» Кравчинский начинает писать «Андрея Кожухова».

Остается, однако, вопрос, почему роман был написан именно по-английски, а не, например, на французском или немецком языках, которые в Европе 1880-х годов скорее обладали статусом международных. Но для того чтобы продолжить изложение гипотезы, мне необходимо сделать отступление.

М. П. Одесский и Д. М. Фельдман, посвятившие отдельное монографическое исследование поэтике и логике террора в европейской культуре и подробно остановившиеся на российском радикализме 2-й половины XIX в., определяют риторические стратегии землевольцев и народовольцев как нечто вроде отвлекающего маневра — они выдают себя в своих манифестах за тираноборцев, но таковыми не являются: им чуждо самопо-

⁴ Если точнее, у Кравчинского вполне сознательно смешиваются две дискурсивные стратегии оправдания (и поэтизации) российского радикализма и терроризма — романтическая, включающая байронические и богоборческие топосы, и житийно-религиозная. Еще одна объемная цитата: «Среди коленопреклоненной толпы он (террорист. — Н. П.) один высоко держит свою гордую голову, изъязвленную столькими молниями, но не склоняющуюся никогда перед врагом.

Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайшие типа человеческого величия: мученика и героя. <...> Какое зрелище! Было ли когда видано что-либо подобное? Одинокий, без имени, без средств, он взял на себя защиту оскорбленного, униженного народа. Он вызвал на смертный бой могущественнейшего императора в мире и целые годы выдерживал натиск всех его громадных сил.

Гордый, как сатана, возмущившийся против своего бога, он противопоставил собственную волю — воле человека, который один среди народа рабов присвоил себе право за всех все решать. Но какая же разница между этим земным богом и ветхозаветным Иеговой Моисея! Как он корчится под смелыми ударами террориста! Как он прячется, как дрожит! Правда, он еще держится, и, хотя бросаемые его дрожащей рукой молнии часто не достигают цели, зато, поражая, они бьют насмерть. Но что за беда? Гибнут люди, но идея бессмертна» [Степняк-Кравчинский 1958: I, 390—392]. О религиозной подоплеке революционной риторики в России второй половины XIX в. см. прежде всего: Паперно 1996.

жертвование, а конечная цель их действий — не монархомахия и восстановление социальной справедливости, а насильственный захват власти. Несмотря на упор акцент на эмоциях и политической этике (восстановлении закона и мести за угнетение народа), деятельность российских революционеров на самом деле сугубо прагматична: это присвоение рычагов управления обществом с помощью, по их мнению, наиболее эффективного в данной ситуации средства — террора. Это средство Одесский и Фельдман определяют следующим образом:

Террор — способ управления социумом посредством превентивного устрашения в условиях массовой истерии. Соответственно, террор — и основополагающий государственный принцип, и способ создания тоталитарного общества в условиях общества иного типа, авторитарного или демократического [Одесский, Фельдман 2012: 24]⁵.

С выводами Одесского и Фельдмана трудно не согласиться, но, на мой взгляд, их можно немного скорректировать. Российский радикальный политический проект в их интерпретации недвусмысленно рационален, а риторика аффекта — лишь его прикрытия, пропаганда, обеспечивающая дополнительный градус массовой истерии. Она обуславливает только отдельные поступки, чей масштаб сводится не к полноценным действиям — они остаются прагматическими, — а скорее к жестам (например, Кравчинский убил начальника Третьего отделения Н. В. Мезенцова кинжалом, играя роль тираноборца, но при этом обеспечил себе путь отхода, что противоречит принципу самопожертвования, обязательному для монархомахов [см.: Одесский, Фельдман 2012: 139—140]). Другими словами, есть, условно говоря, первичная реальность террористических акций и вторичная, поверхностная реальность текстов, камуфлирующих действия для внешних читателей (т. е. любых не-членов радикальных групп)⁶.

⁵ Это определение шире того, которое дается понятию «терроризм» юристами: «<...> терроризм — это публично совершаемые общеопасные деяния или угрозы таковыми, направленные на устрашение населения или какой-то его части, в целях прямого или косвенного воздействия на принятие какого-либо решения или отказ от него в интересах террористов» [Емельянов 2002: 38].

⁶ Такой взгляд вообще характерен для исследователей медиатехнологий террористов

Представляется, однако, что взаимосвязь между этими двумя реальностями несколько более сложна.

Я разделяю точку зрения антропологии культуры, что идеология как социальный феномен — это прежде всего система представлений, которая формирует наши взгляды на окружающий мир, когда все более привычные мировоззренческие системы (ритуалы, религии, традиции и бытовые привычки и т. д.) начинают работать со сбоями. Как писал еще в 1964 г. один из ключевых теоретиков культурной антропологии К. Гирц:

И образность языка идеологий, и горячность, с какой, однажды принятые, они берутся под защиту, вызваны тем, что идеология пытается придать смысл непонятным социальным ситуациям, выстроить их так, чтобы внутри них стало возможно целесообразное действие. <...> Чем бы ни были идеологии (проекциями неосознанных страхов, вуалированием скрытых мотивов, добровольными (phatic) выражениями групповой солидарности), они прежде всего суть карты проблематичной социальной реальности и матрицы, по которым создается коллективное сознание [Гирц 2004: 250].

Разумеется, это не значит, что достаточно просто поменять местами соотношение двух реальностей, поступков и текстов, и начать считать, что именно текстуальная реальность первична — т. е. что именно риторические ходы при обосновании тираноборчества провоцировали переход к терроризму российских радикалов, которые стремились не захватить власть, а установить некий новый моральный порядок в государстве. Если бы так было в действительности, то «Подпольную Россию» и «Андрея Кожухова» должен был ждать успех (даже независимо от художественных достоинств этих текстов), а российский терроризм получил бы такое широкое международное признание, на какое рассчитывал их автор. Скорее здесь другое: и тексты, и террористические акции являются равноправными социальными действиями, которые взаимно переплетаются между со-

от XVIII в. до современности [см., например, Петухов 2007]. Вероятно, подобный прагматико-ориентированный подход хорошо объясняет дискурсивные практики современных террористов. В случае же с российскими радикалами 2-й половины XIX в., по моему мнению, он несколько упрощает дело.

бой и в какой-то момент начинают влиять друг на друга до такой степени, что уже затруднительно (а то и бессмысленно) полагать одну из них первичной, другую — вторичной. По всей видимости, изначально террор «Земли и воли», «Народной воли» и им подобных групп мотивировался как наиболее целесообразное средство при насильственном захвате власти, как и описывают Одесский и Фельдман; для правового и морального обоснования действий, по умолчанию оцениваемых обществом как незаконные и аморальные, была выработана (в том числе Кравчинским) идеология, которая радикально переопределяла систему политических ценностей; далее сама эта идеология, как новый способ оценки окружающей реальности, становилась достаточно эффективной, чтобы создавать матрицу категорий для дальнейших действий. Это не противоречило целесообразности и прагматике всего террористического проекта, наоборот, тесно смыкалось с ним: поскольку на риторическом уровне уже изначально были произведены отказ от рефлексивности и установка на аффект, то противоречия между поступками и их символическими обоснованиями (как кинжал для убийства и стратегия отхода) автоматически снимались с помощью умолчаний и апелляции к эмоциональным оценкам ситуации (а как одно из следствий, также и с помощью массовой истерии).

Двухуровневую структуру анализа террористических акций в этом случае можно сохранить, но с корректировкой. Риторика мести, освобождения народа и т. д. — не внешний пропагандистский ход для затуманивания истинной цели проекта, т. е. захвата власти. Скорее обе эти цели по-своему истинны для террористов — на уровне общих эпистемических установок Кравчинский, как ангел мести, карает царизм⁷, на уровне же конкретных практик индивидуального террора он же продумывает, как ему лучше скрыться с места убийства другого человека. Тер-

⁷ «Шестнадцатого августа 1878 года, то есть через пять месяцев после оправдания Засулич, терроризм фактом убийства генерала Мезенцова, шефа жандармов и главы всей шайки, смело бросил вызов в лицо самодержавию» [Степняк-Кравчинский 1958: I, 390]. «Терроризм» в данном случае — это сам Кравчинский, но на уровне настолько абстрактном, что мыслит себя чуть ли не в виде эйдоса.

рорист в этом случае живет как бы одновременно в двух мирах: он уходит в мир вечных истин — в частности, истин демократии и свободы, — среди которых находит моральное оправдание своей деятельности, и, обогащенный этими ценностями, возвращается обратно, в практики насильственного захвата власти. Оттуда он, в свою очередь, вновь обращается к реальности отвлеченных идеологических конструктов — не только за дополнительной легитимацией собственных поступков, но и для более подходящего и всеохватного осмысления стремительно изменяющейся окружающей реальности. Между этими двумя мирами образуются отношения не вертикального доминирования (один — то, что происходит на самом деле, другой — пропаганда, без которой, в принципе, можно и обойтись), а маятника, когда каждое новое качание обусловлено всеми предыдущими и не представимо ни без одного из них. Зазор между ними ощущается гораздо меньше, чем могло бы быть в результате рефлексивного отношения к идеологическим конструктам революционеров, и периодически возникает соблазн обе реальности окончательно свести воедино.

Теперь необходимо вернуться к основному вопросу статьи — почему «Андрей Кожухов» был написан по-английски. В качестве гипотезы, требующей перепроверки и дополнительных доказательств (в том числе архивных), выскажу следующее. Как известно, одним из многочисленных мифов, подкрепляющих риторику освобождения (от тирании, рабства и т. д.), в России XIX в. был миф об Америке. Подкрепленный европейским «американским мифом», начиная с А. де Токвиля, считавшего Российскую империю и США диаметрально противоположностями (поскольку в России в основе любого публичного действия лежит рабство, а в Америке — свобода) [см.: Токвиль 2000], его русский аналог распространился так широко, что оказался встроен в идеологические системы самых разных социальных групп — в том числе и леворадикальных. «Американский миф» в России — тема крайне широкая, и здесь нет возможности останавливаться на ней⁸. В революционных кругах современников Кравчинского

⁸ Достаточно репрезентативную библиографию, доходящую до конца 1990-х годов, можно

Америка была неким полумифическим пространством, где давно победила свобода и демократия⁹, т. е. оказывалась очень удобным элементом при построении собственной идеологической системы, дополнительно легитимирующим акции землевольцев и народовольцев. По этой логике, российские радикалы действуют во имя торжества законности, а практика индивидуального террора оказывается эмоционально соотнесенной одновременно с Войной за независимость и с Гражданской войной: это и национально-освободительное движение (вспомним значимость фигуры Гарибальди, чей миф легко рифмуется с американским), и освобождение народа от рабства.

Однако, на мой взгляд, Америка в какой-то момент перестает удовлетворять Кравчинского только как идеал, утопическое пространство наподобие острова Авалон, к построению разновидности которого в России стремятся революционные группы, согласно их риторике. Пытаясь сомкнуть Америку как идеологический конструкт и США как реальное государство в единую символическую цепь, Кравчинский пишет «Андрея Кожухова» по-английски и публикует в лондонском филиале американского издательства. Благодаря такому акту Америка должна была, как *deus ex machina*, возникнуть перед Россией в обеих своих ипостасях — как реальное государство с немонархической формой правления, легитимирующее антимонархические действия революционеров в политическом пространстве, и как ожившая утопия, подтверждающая их моральное право на террор. Однако Кравчинский не учел, что действовал изнутри собственной идеологической системы — само обращение к Америке в таком ключе базировалось на народовольческом мифе о ней, — и в итоге, не оказав ощутимого влияния на международную обстановку,

найти по тексту книги: Эткинд 2001.

⁹ Ср.: «Называя себя монархонами, народовольцы постоянно подчеркивали, что борются с деспотией ради торжества законности. Потому в отличие от радикалов 1860-х годов, “неосторожно” восхищавшихся убийцей Линкольна, исполнительный комитет “Народной воли” в партийной прессе осудил убийство американского президента А. Гарфилда: уничтожение представителей власти, поясняли идеологи партии, уместно в условиях деспотии, но преступно в правовых государствах, где главенствует закон» [Одесский, Фельдман 2012: 141].

роман в русском переводе вернулся обратно в Россию, где стал важным текстом для самоидентификации народнических и марксистских групп рубежа XIX—XX вв.

СОКРАЩЕНИЯ

Гирц 2004 — *Гирц К.* Идеология как культурная система / Пер. с англ. Г.М. Дашевского // Гирц К. Интерпретация культур. М., 2004. С. 225—267.

Емельянов 2002 — *Емельянов В.П.* Терроризм и преступления с признаками терроризирования: Уголовно-правовое исследование. СПб., 2002.

Одесский, Фельдман 2012 — *Одесский М., Фельдман Д.* Поэтика власти: Тираноборчество. Революция. Террор. М., 2012.

Паперно 1996 — *Паперно И.* Семиотика поведения: Николай Чернышевский — человек эпохи реализма. М., 1996.

Петухов 2007 — *Петухов В.Б.* Информационный дискурс терроризма в контексте художественной рефлексии. М., 2007.

Пискун 1958 — [*Пискун Б. А.*] Примечания // Степняк-Кравчинский С. Сочинения: В 2 т. М., 1958. Т. 1. С. 635—669.

Степняк-Кравчинский 1898 — *Степняк С.* [*Кравчинский С. М.*]. Андрей Кожухов / Пер. с англ. Ф. Степняк; предисл. Г. Брандеса. Женева, 1898.

Степняк-Кравчинский 1958 — *Степняк-Кравчинский С.* Сочинения: В 2 т. М., 1958.

Токвиль 2000 — *Токвиль А.* де. Демократия в Америке / Пер. В. Т. Олейника, И. Э. Иваняна, И. А. Малаховой, Б. Н. Ворожцова; коммент. В. Т. Олейника. М., 2000.

Эткинд 2001 — *Эткинд А.* Толкование путешествий: Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М., 2001.